

\* \* \*

Попробуй с рьяным неофитом,  
Схватившим вдруг вершки всего,  
В вопросе уж давно избитом  
И новом только для него,  
Попробуй быть с ним разных мнений —  
Хоть Пушкин будь, хоть Карамзин, —  
Он градом брани и камней  
Засыплет вас с своих вершин.  
Что раз в его вгвоздили стену,  
На том он крепко заторел;  
Нет спорных мыслей для обмена:  
К одной прирос и затвердел.  
Упрямый, цельный, однородный,  
Пожалуй, твердо он стоит;  
Но где ж тут жизнь? В степи бесплодной  
Одной он мысли монолит.  
В уме его, тугом и тесном,  
Сомненьям мудрым места нет;  
В своем величьи полновесном  
Заплыл он в свой авторитет.  
Глупцам прилично зазнаваться:  
Самоуверенность тупа.  
Умела б глупость сомневаться,  
Была б она не так глупа.

&lt;1862&gt;



## А. И. ГЕРЦЕН

1831–1863

<Фрагмент>

<...>

Гонения, начавшиеся после революции 48 года против печатного слова и преподавания, перешли все границы тупого и гнусного; они были гадки, они были смешны — они довели литературу до угрюмого молчания, *но говорить в смысле николаевского консерватизма не заставили ее*. То же было в преподавании; наружно подавленное,

оно внутри осталось верным своему святому призванию пропаганды, очеловечения. И если столичные профессора были иногда стесняемы докучливым надзором и доносами, то преподавание шло своим чередом в провинциальных университетах, гимназиях, семинариях, кадетских корпусах и пр. Эта децентрализация образования чрезвычайно важна не только географически, но и понижением, так сказать, ценса его; она просачивалась глубже и терялась на самых границах грамотности. Меры правительства ни к чему не привели.

Педагогика противустояла даже своего рода *chef d'œuvre*'у — ростовцевской инструкции преподавателям военно-учебных заведений<sup>1</sup>.

Кто же сделал это?

Это сделал новый кряж людей, восставший внизу и вводящий исподволь свои новые элементы в умственную жизнь России. Он приобрел больше и больше права гражданства в ней в продолжение того времени, как Николай сбивал верхушки и грубыми ударами уродовал оранжерейные и нервно развитые организации.

Отщепенцы всех сословий, эти *новые люди*, эти нравственные разночинцы, составляли не сословие, а *среду*, в которой на первом плане были учителя и литераторы, — литераторы-работники, а не дилетанты, студенты, окончившие и не окончившие курс, чиновники из университетских и из семинаристов, мелкое дворянство, обер-офицерские дети, офицеры, выпущенные из корпусов, и проч. Новые люди, маленькие люди, они были не так заметны и нравственно столько же свободнее прежних, сколько связаннее материально. Бедность дает своего рода осмотрительную силу и строй.

Дворянски-помещичья Русь, в которой до этого времени преимущественно сосредоточивалось умственное и литературное развитие, была, помимо преследований, в фальшивом положении. Она не могла серьезно провести ни одной мысли, не переходя через ограду, оберегавшую ее сословные права. Связанная образованием с формами европейской жизни, связанная крепостным состоянием с петербургским режимом, она должна была отречься от своих монополий или невольно вносить противуречие во всякий вопрос. Для нее, как касты, была одна будущность — ограничить верховную власть царя олигархической Думой; на это не было материальной силы. На выход из сословия недо-ставало силы нравственной. Тип англоманов и либералов-помещиков, захваченных на своем стремительном пути к парламентской свободе освобождением крестьян с землею, останется на надгробном памятнике российского благородного дворянства вроде карикатурных уродцев, которыми средневековые зодчие украшали капители церковных колонн.

Аристократическая Россия отступала на второй план, ее голос стал слабеть; может, она, как Николай, была сконфужена события-

ми 1848 года. Чтоб оставаться народной в литературе, ей пришлось оставить городскую жизнь, взять охотничье ружье и бить по земле и на лету дичь крепостного права<sup>2</sup>.

Другая сила шла на смену, другая шеринга становилась на место истощившихся вождей и бойцов.

Еще в людских ушах раздавался звук погребальной проповеди Чаадаева, которая, шевеля многое в груди, не давала ничего, кроме утешений на том свете, какого-то далекого будущего, а уже светлые звуки малороссийского напева неслись издали<sup>3</sup> вместе с жартами и смехом, если и не добродушным, то смехом здоровой груди, а уж в стертой журналистике, скучной в Москве и истасканной в Петербурге, вырезывались сильнее и ярче черты настоящего представителя молодой России, действительного революционера в нашей литературе.

Белинский был человек необыкновенно свободный, его ничто не стесняло: ни предрассудки схоластики, ни предрассудки среды; он является полный вопросов, ищет разрешений, не подтасовывая выводов и не пугаясь их. Он откровенно ошибается и искренне ищет другого разрешения; у него была в виду одна истина и ничего развее. Белинский вышел на сцену без герба, без знамени, без диплома, он не принадлежал ни к какой церкви и ни к какому сословию, он ничем не был связан и никому не присягал. Ему нечего было шадить, но зато он мог всему сочувствовать... В первую минуту, когда он, искушаемый змием немецкого любомудрия, увлекся *разумностью всего сущего*, он безбоязненно написал свою бородинскую статью<sup>4</sup>. Какую страшную чистоту надобно было иметь, какую самобытную независимость и бесконечную свободу, чтоб напечатать что-нибудь вроде оправдания Николая в начале *сороковых годов*!

Эту *чистоту ошибки* поняли те самые люди, которые не могли простить двух стихотворений Пушкину<sup>5</sup>, которые отвернулись от Гоголя за его «Переписку с друзьями». На Белинского многие (и я в том числе) сердились<sup>6</sup>, но чувствовали, что заблуждение искренно, что оно воротится. Так и было.

В Белинском мы встречаем ту великую отрешенность от вперед идущих понятий и авторитетов, которая составляет отличительную черту и силу русского гения, ее смутно провидел Чаадаев, об ней и мы говорили много\*.

Может, эта отрешенность, эта внутренняя свобода с внешним рабством лишила нашу жизнь многих теплых минут, многих привязанностей, может, она внесла в нее сломанность, которая выражалась

---

\* ...Nous sommes une immense spontanéité... l'intelligence russe est l'intelligence impersonnelle par excellence<sup>7</sup> (*Tchaadaïeff. Lettres à Al. Tourguenëff*).

господством иронии. Но она дала нам страшную независимость. Мы, как дети, не знавшие ни отца, ни матери, были беднее, но свободнее; наша мать и наш отец были идеалы, и потому не они стесняли нас, а мы им втесняли очищенный образ свой и свое подобие.

Идеал Белинского, идеал наш, наша церковь и родительский дом, в котором воспитались наши первые мысли и сочувствия, был *западный мир* с его наукой, с его революцией, с его уважением к лицу, с его политической свободой, с его художественным богатством и несокрушенным упованием.

Идеал Хомякова и его друзей был в прошедшем народа русского, в его быте, преображенном в небывалой чистоте. Но апотеоза как бы ни была преувеличена, все же в ней главные черты истинны. *Житие* необходимо при всяком причислении к лику святых, и в идеале славян, сохранившем бытовые особенности нашего народа, было великое пророчество, принимаемое ими за воспоминание.

Которому из идеалов суждено было одолеть? Или на чем они могли помириться и идти об руку?

Элементы к разрешению этого вопроса принесла революция 1848 года с своими последствиями.

По крайней мере с тех пор спор, о котором мы говорили, изменился.



## В. А. ЗАЙЦЕВ

### Белинский и Добролюбов

<Фрагменты>

#### Значение Белинского в литературе и обществе

У Белинского внешний, отвлеченный принцип превратился в его внутреннюю жизненную потребность: проповедывать свои идеи было для него столько же необходимо, как есть и пить.

*Добролюбов (т. II, стр. 416)*

Я с намерением так долго остановился на эстетическом характере критики Белинского, чтобы показать, в каких узких рамках ему приходилось действовать. Напрасно мы стали бы искать во всех 12 томах